ЭОН памяти

Андрей Ветер

SHOUT
SHARE
IT

- Андрей Ветер

Андрей Ветер
ЭОН ПАМЯТИ

«И четыре силы — это мудрость, благодать, чувствование, рассудительность. Благодать находится у эона света Армоцеля, который первый ангел. Вместе с этим эоном есть три другие эона: милость, истина и форма. Второй свет — это Ориэль, который был помещён у второго эона. Вместе с ним есть три других эона: мысль, чувствование и память. Третий свет — это Давейтай, который помещён у третьего эона. Вместе с ним есть три других эона: мудрость, любовь и форма. Четвёртый эон помещён у четвёртого света Элелет. Вместе с ним есть три других эона: совершенство, мир и София. Это четыре эона, которые предстали пред божественным Аутогеном. Это двенадцать эонов, которые предстали пред сыном, великим Аутогеном, Христом, по воле и дару незримого.» Апокриф Иоанна.

Моего отца привезли из Женевы в Москву на носилках, неподвижного, с закрытыми глазами, но совершенно спокойного внешне. Глядя на него, невозможно было сказать, что его терзала неугасимая боль в голове, что мозг был раздавлен опухолью, лишившей его возможности шевелиться. Его лицо ничуть не изменилось. Казалось, что он просто спал. Но его охватил, к сожалению, не сон.

Чекисты работали быстро, слаженно, без суеты, не привлекая внимания многочисленных пассажиров Шереметьева. Со стороны казалось, что обычные люди встречали больного человека. Никому из посторонних никогда не закралась бы мысль, что на каталке лежал профессиональный разведчик, в считанные дни превратившийся из громкоголосого и жизнелюбивого человека в молчаливую и неподвижную куклу. Судьба…

В Женеве, когда он жаловался на всё чаще беспокоившие его головные боли, ему сказали, что он просто перенёс на ногах грипп. Никто не подозревал, что в голове гнездилась непобедимая опухоль, расползавшаяся по мозгу, как пролитые чернила по промокашке. Врач в нашем представительстве уверенно заявила, что у моего отца было простое осложнение после гриппа. Обследование в женевском госпитале также ничего не показало, так что не верьте, что хвалёные европейские светила знают всё и умеют всё. Не верьте. Они ничуть не лучше наших, а то и значительно хуже. У них прекрасное техническое оснащение, но в редких случаях одного этого бывает достаточно. Никакая техника

не заменит профессионального чутья и умения, которыми обязан обладать врач.

Итак, отца провезли через отдельную дверь. Рядом с каталкой стояла моя мать, интересная, подтянутая женщина с яркими губами и густо накрашенными глазами. Она почти не обращала на окружающих внимания и бесцветно сказала:

— Здравствуй, Андрюшенька.

Я подошёл к отцу и взял его за руку. Он слегка приоткрыл глаза и сделал губами:

— Пф-ф-ф-ф…

Страшно вспоминать этот звук, пролившийся сквозь сомкнутые губы. Этот звук не имел ничего общего с жизнерадостным человеком, которого я привык видеть. Я ничуть не смутился, увидев отца в таком положении. Я был уверен, что его болезнь, пусть и тяжёлая, пройдёт через самое короткое время. Я не допускал мысли о том, что отец мог остаться в таком неподвижном состоянии навсегда.

— Пф-ф-ф-ф…

Казалось, он узнал меня, но кисть его руки не отозвалась на моё прикосновение, осталась вялой. Подошедшие доктора ткнули его несколько раз в руку иголками, проверяя рефлексы, но отец никак не отреагировал. Ему было всё равно.

— Юрий Васильевич, как вы?

Он молчал. Он не отзывался на их вопросы. Поэтому я уверен, что меня он узнал. На моё появление он отреагировал движением губ…

— Юрий Васильевич, как вы?

В этом вопросе слышалась безысходность. Несуразица какая-то… Безысходности не могло быть, но я слышал её в голосах белых халатов.

Через некоторое время мы уже мчались в машине.

— Вот как, оказывается, бывает, — произнесла вдруг мама. — В один момент всё рухнуло…

В институте нейрохирургии имени Бурденко у отца сразу определили опухоль головного мозга в левой височной доле. На следующий день знаменитый хирург Коновалов (говорят, у него волшебные руки) приступил к операции.

***

Отматывая киноплёнку памяти к далёким дням детства, я удивляюсь себе.

Когда отец впервые сказал мне, что он работает в разведке, я не обратил на это внимания. Не то чтобы я не поверил ему — я привык ему верить, я верил, пожалуй, только ему, так как он никогда не обманывал меня — я просто не сумел осознать этого. Мне было тринадцать лет, я рос в тепличных условиях, и понятие «шпион» было для меня частью какого-то недосягаемого, если не вовсе вымышленного мира, очень героического и романтического, но не имевшего ни малейшего отношения к действительности. Он заметил мою странную реакцию и принял её, как я думаю, за недоверие. Ведь любой нормальный мальчишка непременно пришёл бы в восхищение от такой информации. Отец — разведчик! Разве это не удивительно? Разве не здорово? Разве не почётно? Но я, судя по всему, не отреагировал должным образом, и отца, видно, задело отсутствие восторга во мне. Реакция оказалась слишком вялой.

Помню, мы ехали однажды на поезде отдыхать в Крым. В купе никого не было, кроме меня и отца, и он показал мне своё служебное удостоверение, чтобы я убедился в его честности.

— А ты не верил мне…

Он ошибался. Верить-то я верил, но сразу же выбрасывал из головы эту информацию. Я просто не понимал, о чём шла речь, поэтому и в тот раз в моей голове не отложилось, что мой папа — офицер разведки. Ведь разведчику полагалось гонять на автомобиле с пистолетом в руке, сигать с крыши на крышу, отрываясь от погони, прятать своё лицо под наклеенными усами и бородой да и вообще вести совершенно иной, особенный образ жизни. Я видел фильмы про настоящих шпионов, а папа был обыкновенным человеком. Он ни от кого не прятался, каждое утро отправлялся на работу, как и все другие папы. В нём не было ровным счётом ничего особенного. Залысина, тяжелеющий с годами живот, отсутствие стальных мышц, привычка много выпивать…

Через два года после этого я попал в интернат КГБ и там впервые услышал слово «чекисты», употреблённое по отношению к нашим родителям. Было 20 декабря. Нас, старшую группу школьников, пригласили в класс для торжественного собрания. Пришёл чей-то отец и выступил перед нами с небольшой речью, начав её так:

— Вы, дети чекистов, должны помнить....

Он говорил без лозунгов, без ярких слов, весьма обыденно, не рассказывал никаких приключенческих историй, но это «дети чекистов» меня потрясло. Впервые в моей голове увязалась в одно ясное целое многолетняя история Советского Союза и жизнь моего отца (стало быть, также жизнь моей матери и моя

собственная). Чекисты! Это слово вдруг сразу подвело под работу моего отца мощный фундамент. Одно слово расставило по своим местам всё, что оставалось для меня смутным раньше. Чекисты! Это революционные кожанки, маузеры в деревянных кобурах, ловля бандитов и прочее, прочее, прочее, от чего захватывало дух… Кинематограф внезапно ожил. Персонажи, рельефно смотревшие на меня с чёрно-белого экрана, обрели плоть, вес, смысл. За ними тянулся шлейф истории.

Печально, что я осознал всё это через призму чужих слов. Получается, что я должен был услышать это от постороннего человека, чтобы понять, что такое «разведчик», а не от близкого мне отца.

Чекисты! Как много таилось в этом слове!

Только теперь я обратил внимание на висевшую под стеклом в проходной нашего интерната бумагу с перечнем правил посещения. В заголовке присутствовали слова «комитет государственной безопасности».

Получалось, что все окружавшие меня интернатские ребята были детьми разведчиков, детьми чекистов, детьми никому неведомых героев. А у Толика Нукина, круглолицего, потного, совершенно обыкновенного, отец, оказывается, был нелегалом! То есть он жил в чужой стране под чужой фамилией вместе с женой, прикрывался чужим гражданством, говорил только на чужом языке! До меня вдруг дошло, что Толик не видел родителей вот уже несколько лет, получал письма и подарки от них исключительно через куратора, а когда им пришёл срок возвращаться, он неожиданно узнал, что у него появился братик, что братику уже исполнилось два годика и вообще много разного…

Дети…

Мы были самыми заурядными детьми. Мы хулиганили, дрались, приворовывали… Ваня Курлаков неоднократно попадался воспитателям в пьяном виде после посещения ближайшей разливочной, устраивал потасовки и в конце концов был отчислен из интерната, а после школы загремел в тюрьму. Стасик Ленский тоже постоянно дрался, не в силах сдержать свою страсть к боксу, регулярно вышибал кому-то зубы. Олежка Малицев лазил по водосточной трубе подглядывать за девочками в бане. Димка по кичке Дама, когда мы гуляли по парку, настаивал на том, чтобы мы уходили чуть вперёд и задирали прохожих, чтобы они сцепились с нами, а он получил повод покрутить им уши. Внук директора нашего интерната крал, как поговаривали, всё, что подворачивалось ему под руку (одно время я водил с ним дружбу, а потом начал демонстративно

открещиваться от него — позорное поведение с моей стороны, в чём мне стыдно признаваться, но так было); его звали Миша, он умер от рака крови через несколько лет после окончания школы; однажды он явился ко мне во сне и сказал, что вскоре я умру (я не умер, но в означенный день потерял сознание, сидя на унитазе — возможно, я не совсем верно понял его слова).

Дети…

Да, моя голова шла кругом. Для меня это был год, когда я впервые остался без родителей и попал в московскую школу, о которой не имел ни малейшего понятия. В Москве, столице СССР, были совершенно чуждые мне нравы, казавшиеся мне дикими. Я воспринял Москву как чужой город, родина моя казалась мне чужой страной.

Я вырос в Индии, привык к тепличным условиям. В советской «колонии» не было драк между детьми. Если случалось кому-то из мальчишек схлестнуться, то родители быстренько надевали на своих буянов узду. В Москве же синяки и кровоподтёки оказались, как я быстро усвоил, делом не только привычным, но и само собой разумеющимся. Дрались прямо в школе, не страшась никаких наказаний, могли схватиться даже не в скрытом от посторонних глаз грязном туалете, а непосредственно перед входом в классную комнату, нанося удары тяжёлыми жёлтыми пряжками хлёстких кожаных ремней. Когда я впервые увидел драку, где ребята лупили друг друга ремнями, сгрудившись на лестничной клетке, я остолбенел. Я не мог поверить в то, что такое может происходить в действительности.

Гораздо позже я узнал, что в Приюте (так мы называли наш интернат) тоже было принято драться — «утюжить» новичков в знак «гостеприимства». Не знаю, как именно их обрабатывали, может быть, пропускали сквозь строй, может быть, устраивали бой с самым сильным, обрекая на проигрыш. Меня сия чаша обошла стороной, и причины этого остались мне неведомы. Воспитатели рассказывали моей матери, когда я уходил из интерната, что я завоевал признание ребят тем, что умел рисовать. Сейчас меня это очень удивляет: неужели умение рисовать может кому-то казаться недосягаемым искусством? Впрочем, если это так, то вполне возможно, что моё умение показалось ребятам своего рода волшебством (как для дикарей). Как-то я придумал забаву: рисовал карандашом картинки, в которые помещал вырезанные из фотокарточек лица ребят. Карандашом я работал так, чтобы штрихи абсолютно точно соответствовали яркости и тону фотографии, дабы между фото и рисунком не различались границы. Это нравилось всем, от многих даже поступали заказы на тот или иной сюжет, в котором

они хотели бы увидеть себя. Может, это и было то, о чём говорили воспитатели? Повторяю, что я не знаю причины, по которой меня не тронули, но как бы то ни было, меня не поколотили, как того требовали правила Приюта. Я полагаю, что в то время изменились нравы старшеклассников, поэтому новичков перестали бить. По крайней мере, за время моего нахождения в Приюте я не видел, чтобы поколотили хотя бы кого-нибудь из новоприбывших, хотя серьёзные драки при «выяснении отношений» случались.

Той же осенью я впервые увидел по телевизору «Семнадцать мгновений весны». Невозможно передать всю глубину охвативших меня переживаний. Прежде я не видел ничего подобного. Тяжесть бремени, которое нёс на своих плечах Штирлиц, придавила меня. Невольно я стал ощущать, что мой отец, хоть и не работавший нелегалом, выполнял столь же трудные задания, как и экранный полковник Исаев. И родители всех окружавших меня мальчишек и девчонок тоже. Глядя на актёра Вячеслава Тихонова, облачённого в чёрную форму СС, и слушая песню «Мгновения», я едва не плакал. Чувства переполняли меня, однако поделиться ими я не осмелился ни с кем, побоявшись, что буду зачислен в категорию «хлюпиков».

Кто бы мог подумать, что через много лет после этого я сам попаду в разведшколу и увижу собственными глазами «кухню», где готовят «шпионов»? Увижу, вдохну запах этой профессии и подам рапорт об увольнении…

***

Моего отца звали Юрий Васильевич, но для большинства друзей он был просто Юрвас.

Его отец, то есть мой родной дед, погиб на фронте. Однажды я обнаружил среди старых бумаг и фотографий аккуратно сложенное и обветшавшее на складках письмо с фронта, написанное медсестрой, адресованное моей бабке и сообщавшее о смерти моего деда. Простенькое письмо, бесхитростное, но такое важное, такое весомое.

«Здравствуйте, уважаемая Галя. Простите, что я так вас называю, я не знаю вашего полного имени. Это имя я нашла написанное на фотокарточке и решила вас так называть. Я вам хочу сообщить, что ваш муж в одной из крупных операций был ранен в живот с повреждением толстого кишечника. Хирургическая операция длилась более двух часов и закончилась

благополучно, после чего больной жил четыре дня. Но, видно, болезнь сильнее всех оказалась и взяла верх себя… в пять часов… мая 1943 (уголок письма с точной датой оторван) ваш муж скончался. Я представляю, как тяжела для вас утрата. Мне тяжело писать об этом, но я считаю своим долгом сообщить вам об этом. Вместе с небольшой запиской отсылаю вам фотокарточки, найденные у него. Деньги в сумме 345 рублей я вам послала по почте. Писала медсестра Зина Самойлова. Сообщите мне, что получили вы письмо и деньги».

Есть и другое письмо от этой медсестры; конверт из обычного тетрадного листка в клетку сложен треугольничком, украшен тремя круглыми почтовыми штемпелями и квадратной печатью «ПРОСМОТРЕНО Военной Цензурой, 15».

«Здравствуйте, дорогая и уважаемая Галина Николаевна! Сегодня вместе с вашим письмом получила ещё два таких письма. Все они почти одного содержания. После каждого больного, пролежавшего в моей палате и умершего на моих руках, я сообщаю по адресу, хотя такие вести для дома не совсем приятные, но если родственники не будут получать от них письма, то будет гораздо тяжелее. Поэтому я сразу сообщаю об полной утрате. Это не потому я пишу, что долг этим заниматься. Я пишу потому, что понимаю, в каком положении остаётся семья, и сочувствую все её трудности. На днях я получила письмо с фронта, в котором мне сообщили, что умер от тяжёлого ранения мой брат. И я в лице моего брата представляю каждого больного, попавшего на моё лечение. Я делаю самую почётную работу, помогаю людям вернуться к жизни, но когда бывают такие случаи, когда умирают люди, бывает очень тяжело смотреть на это зрелище. Я глубоко сочувствую вам, уважаемая Галина Николаевна, утрата в вашей дружной семье очень отразится на вашу жизнь, а тем более на будущность вашего сына. Пишите мне, я вам с удовольствием буду отвечать на все заданные вопросы. Спасибо за приглашение в гости. Я сама москвичка и после окончания войны, безусловно, к вам зайду и поделимся вместе мыслями. До свидания! Дорогая Галина Николаевна, привет вашему сыну Юрику и мамаше вашей. С горячим дружеским приветом Зина. 8.6.43».

Меня поразила мысль, что эта медсестра, возможно, жила какой-то удивительной жизнью, переписываясь с родственниками своих погибших подопечных. Возможно, после войны она встречалась с жёнами, сёстрами и детьми тех солдат, которые скончались на её глазах, и была для многих людей единственной связующей нитью между живыми и мёртвыми — нитью, которую может ощутить лишь тот, кто прошёл через горе таких утрат.

Среди старых писем я нашёл также свёрнутую крохотным конвертиком бумагу, в которой хранилась (и хранится до сих пор) фиалка; на бумаге карандашная надпись, сделанная рукой моей бабушки Гали: «Фиалочки, которые Васенька прислал с фронта». Ничего больше у меня от деда, а у Юрваса от отца не осталось, кроме нескольких потрескавшихся фотографий.

Впрочем, я вру. От деда Василия сохранилась также бумага, которая называется «Выпись изъ метрической книги» (за 1908 год) — большой сложенный вдвое листок, старинный шрифт, выцветшие чернила, неразборчивый крупный почерк.

Моя бабушка Галя (мать Юрваса) работала школьной учительницей. Я хорошо помню это здание старой школы из красного кирпича. Как-то раз отец провёл меня по местам своего детства, по закоулкам юности, показал школу и дом. Школа продолжает стоять, а вот дом разрушен. Когда-то тот район назывался Лихоборы.

Юрвас, несмотря на то, что мама его была учительницей, читал мало, рос на улице, тесно соприкасался со шпаной, дрался, мастерил так называемые «самопалы», с которыми наиболее суровые представители шпаны не расставались никогда. Драться он умел хорошо, обучившись этому делу в боксёрской школе, но выяснять отношения на кулаках не любил, как сам признавался мне потом. Он говорил, что именно умение пользоваться кулаками нередко подводило его, вселяло излишнюю самоуверенность, заставляло ввязываться в потасовки, в которые ввязываться было нельзя.

Иногда, уже в дни моего отрочества, Юрвас вдруг начинал напевать какую-нибудь блатную песню, попивая утренний чай.

— Откуда ты знаешь такие песни? — всякий раз удивлялся я.

— Эх, Андрюха, — улыбался он, — сколько я этих песен знал раньше! Надо тебе слова надиктовать при случае. А то ведь нынче их нигде не услышишь, канут со мной…

Но не надиктовал. Как-то всё не до того было. Да я и не спрашивал про них, ведь песни мне эти не были нужны. Думаю, что Юрвас на самом деле не вспомнил бы целиком ни одной из этих песен, это он просто чуть-чуть рисовался. Ему хотелось выглядеть в моих глазах немного не таким, какими были остальные дипломаты.

Я не могу не упомянуть о шпанской молодости Юрваса, ибо она наложила сильный отпечаток на его характер. Впрочем, со шпаной общалось подавляющее число ребят военного и послевоенного времени. Шпану, по сути дела, составляли все ребята. Шпана была повсюду, в каждом дворе, в каждой подворотне. Наверное, только дети очень высокопоставленных

родителей не соприкасались со шпаной. В стране была разруха, нищета, люди пытались выжить всеми доступными способами, и мальчишки не были исключением. Воровали, если подворачивался случай, и дрались, зажав в кулаке медный пятак, чтобы удар был сильнее.

И всё же Юрвас быстро вырвался из полубандитского окружения, чему немало поспособствовала его мать. В то время многие мечтали стать лётчиками, ибо профессия эта была романтической и героической, и моя бабушка Галя поначалу не противилась тому, чтобы её сын пошёл в лётную школу. Об этом периоде жизни Юрваса я почти ничего не знаю. Сохранилось свидетельство (№137), которое гласит, что мой отец «окончил курс первоначального обучения на самолёте ПО-2 и получил звание пилота, без отрыва от производства при Московском Аэроклубе, сдал государственные зачёты с оценкой по лётной практике (четыре) по теории (четыре)». Юрвас утверждал, что после аэроклуба ему стали видеться сны, в которых он простирал руки в стороны и поднимался над землёй, как птица. От тех дней осталась блёклая фотография, на которой отец запечатлён в толстом комбинезоне и кожаной «лётчиской» шапке с опущенными ушами. Фотография — странная штука. Вглядываешься в неё, и кажется, что вот-вот откроется перед тобой некая тайна, скрытая за границами фотоснимка. Смотришь, смотришь, погружаешься в другое время, почти слышишь звуки, принадлежащие той эпохе, но тайна всё-таки не открывается, границы фотографии остаются неизменными.

Авиационная эпопея кончилась быстро. Его мать, ни с того ни с сего вдарившись в истерику, вынудила Юрваса бросить самолёты.

— Ты непременно разобьёшься! Все лётчики бьются!

Он ушёл из аэроклуба и поступил в МВТУ имени Баумана.

Бабушка Галя вышла замуж за Адама Григорьевича Лосева, который нежно полюбил Юрваса. Мой отец отвечал ему взаимностью и называл папой. Я же называл его дедом, как настоящего, кровного моего деда. Когда отец впервые сказал мне, что Адик (Адам Григорьевич) ему не настоящий отец, я пропустил эту информацию мимо ушей. Я даже не обращал внимания на то, что отчество Юрваса не совпадало с именем моего деда. Для меня это было совсем не существенно.

Потом бабушка умерла. Я был маленький, и ничего по этому поводу сказать не могу. Я ничего не помню о её смерти, впрочем, как и о её жизни. Её смерти для меня просто не было. Бабка осталась для меня лишь звуком, воплощённым в её имени.

Много позже я узнал, что она покончила жизнь

самоубийством, бросившись под поезд. Причины мне не известны. Думаю, что и Юрвас не знал о них ничего толком. Иногда он говорил, что она закатывала Адаму Григорьевичу страшные истерики. Может быть, она была ревнивой? Не знаю. Записки она не оставила никакой. Но Юрвас всегда помнил о том, какой была её смерть. И помнил, что ей было примерно пятьдесят лет. Это настолько упрочнилось в его памяти, что он предупредил свою жену, чтобы его ни в коем случае не хоронили в могиле матери. Он был атеист, но мать-самоубийца, пусть даже давно превратившаяся в прах, пугала его. Он настаивал на том, чтобы его положили в могилу его бабки, то есть моей прабабки. Он скончался в пятьдесят лет. Случайность ли это? Или же он настолько смог внушить себе, что этот возраст был для него рубежом?

Когда он попал на службу в КГБ, он нигде не упомянул о том, как оборвалась жизнь его матери. Он понимал, что такая информация могла бы отрицательно сказаться на его характеристике: кандидат проходит тщательную проверку и может быть «отсеян» по самым незначительным причинам. Меня, например, глубоко проверяли более полугода, когда я готовился к поступлению в КАИ, хотя я был сыном чекиста (то есть из «надёжной» семьи, из «своих»), и имел очень солидную рекомендацию. Впрочем, в серьёзности отбора нет ничего удивительного.

Однако вернусь к моей бабке и последствиям её гибели. После смерти Юрваса его коллегам пришлось заниматься документами на её могилу.

Дело в том, что не только он не хотел, чтобы его хоронили в могиле матери, не только он боялся лежать вместе с самоубийцей. Адам Григорьевич тоже боялся этого и берёг могилу моей прабабки для себя. Поэтому, когда потребовались бумаги на её могилу, Адам Григорьевич поспешил сказать, что ему не удалось найти их у себя. Тогда к нему пришли люди с работы отца и в считанные минуты нашли необходимые документы. Надо полагать, что он был немало перепуган, когда в его крохотную квартирку вторглись комитетчики и принялись рыться на полках и в ящиках.

Не знаю, как выглядели эти недолгие поиски, но могу хорошо представить чувства человека, из памяти которого не успели изгладиться годы сталинского режима и к которому приходят фактически с обыском сотрудники столь грозной службы. Пусть не с обыском, пусть ничем не угрожая, пусть без хамства, но сам факт присутствия гэбэшников в квартире и унизительная процедура «прочёсывания» ящиков стола…

Именно этот инцидент положил конец нашим отношениям. Дед почему-то озлобился и на меня. Или не озлобился, а просто затаился внутри себя, сжался в комок.

Как-то я привёз ему большую бутылку водки и что-то из папиных вещей. Дед посидел с мной за столом, а затем и спросил как-то недобро.

— Ну, что тебе надо?

Почему-то он решил, что я приехал не просто так.

— Ничего не надо.

Мне ничего не было от него нужно, и его вопрос так и остался для меня непонятным, бессмысленным и обидным.

Потом мы не общались много лет. Сегодня мне горько думать, что я не «переломил» себя и не сделал попытку пойти на контакт с ним. Я твёрдо знаю, что он не стал бы упрямиться, принял бы меня радостно. Теперь знаю наверняка, потому что летом 2003 года он позвонил мне и слабым, неузнаваемым голосом произнёс: «Андрюша? Это Адам Григорьевич. Приезжай ко мне. Нам надо поговорить». Он назвался по имени и отчеству, а не так, как делал раньше: «Это деда Адик!»…

Я приехал к нему, взяв с собой жену. Признаюсь, одному мне ехать было боязно. Не могу объяснить причины, не понимаю того страха, но что-то тревожило. Поэтому я попросил жену поехать со мной. Когда Адам Григорьевич отпер дверь, я поразился его облику — он изменился невероятно: похудел, иссох, полностью облысел. Он плохо ходил, но отказался от руки и пошёл по коридору, держась за стену.

— Я сам, сам! — Он всегда был независим и по-напускному строг.

Увидев меня, он протянул мне руку, как на официальной встрече! Я же в ответ привлёк его к груди и поцеловал его. Быть может, за всё время после смерти моего отца я не испытывал такого сладкого чувства родства, как в тот момент. И дед тут же оттаял, заговорив с нами, как будто между нами не пролегло десять лет разлуки. Он с трудом передвигался, и глядеть на него было больно, однако он не позволил нам включить плиту, нарезать колбасу, вскрыть консервы.

— Я сам, сам…

Заготовил он для нашей встречи уйму всякой всячины: красная икра, водка, всевозможные копчёности! Но главное — он отложил все имевшиеся у него немногие фотокарточки моей бабушки Гали. На одном снимке она выглядит настоящей голливудской звездой сороковых годов. И ещё он дал нам денег.

— Вот я для вас отложил, — сказал он, порывшись на полке с бельём, и достал конверт, на котором было написано: «Андрюше».

— Я знаю, что делаю! — Воскликнул он скрипучим голосом, когда я попытался возразить. — Мне пора умирать. Я всё рассчитал. Пусть это будет вам маленьким подспорьем. Мне всё это уже ни к чему…

И я вдруг ясно ощутил, что он и впрямь умрёт в ближайшие месяцы, а то и дни. Он готов был умереть. Он собирался в путь. Ничто не держало его здесь.

Мы сидели и долго разговаривали. Он рассказал о своей матери и бабушке, поведал о том, как советская коллективизация перемолотила их семью, о первых своих впечатлениях, связанных с приездом в город и поступлением в институт…

Он всё просил, чтобы мы ещё по рюмочке выпили, ещё и ещё. Требовал, чтобы мы ели всё, что он заготовил для встречи (мы не могли одолеть и пятой части того, что он выставил на стол). Он говорил и говорил, вспоминая о своей жизни и о жизни Советского Союза. Он ничего и никого не ругал, а про мою бабушку сказал: «Она была лучшей учительницей. Таких больше не найти. Ты должен гордиться ею». И вручил мне орден, которым она была награждена.

К сожалению, я, перегруженный эмоциями, позабыл большую часть из того, что рассказал дед. Мне казалось, что из моей памяти не выпадет ничто — настолько выразительными казались его неяркие слова, его слабый голос, его полупризрачный облик, но оказалось, что забыть легко.

— Вот приходите ко мне двадцать четвёртого декабря, — сказал дед. — Посидим, помянем Юру…

Но он не дожил самой малости до этой даты.

***

Однако я тороплюсь и забегаю вперёд…

Пока ещё Юрвас не служит в разведке. Эта работа ждёт его впереди. Для начала он закончил Бауманский, работал в одном из многочисленных «почтовых ящиков» (так назывались в те годы закрытые учреждения), затем пошёл учиться в Академию Внешней Торговли, после чего был отправлен в Индию.

Вот тут-то всё и началось…

Любопытно, что в Академии он изучал испанский язык. На собеседовании перед отъездом в Индию он не сказал, что знал по-английски лишь несколько фраз, в анкете указал: «свободно владею испанским и английским языками». И улетел в Дели, где в срочном порядке принялся учить английский. В этом поступке

заметно проявился его характер, без которого он вряд ли вжился бы в «шкуру» разведчика.

Вопреки сложившемуся мнению, будто для всех является непостижимой тайной, кто из служащих торгпредства или посольства являлся гэбэшником, должен сказать, что это не соответствует действительности. Советская колония за рубежом — это настоящая деревня, где всё на виду, все пересказывали друг другу всё, перемывали косточки, поливали грязью. В те годы (я веду речь о 1960—1970-х годах) выходить за строго ограниченную территорию, обнесённую кирпичным забором в человеческий рост, не разрешалось. За это, конечно, не карали слишком строго, но предполагалось, что жить мы должны были на нашей территории, ибо она считалась землёй нашего государства, а за забором — чёрт его знает что могло случиться. Разведчики же покидали нашу территорию чаще других и очень часто в одиночку. Это не оставалось незамеченным «чистыми» гражданами. А так как наши сограждане в течение нескольких лет варились в весьма тесном котле, то они живо обсуждали свои наблюдения друг с другом.

Этот первый заезд в Индию я теперь помню смутно. Там я пошёл в первый класс. Там я впервые влюбился и поцеловался (наверное, это было очень смешно). Там я впервые распорол ногу, спрыгнув с дерева на битое стекло. Там я впервые нырнул в бассейн с трёхметровой вышки во время дикого муссонного дождя. Там я многое сделал впервые, и за это я благодарен Индии...

Юрвас тем временем познакомился с сотрудниками нашей разведки, и они околдовали его.

Прошло четыре года, мы вернулись в Москву, поселились в Чертанове — пустынном и грязном районе. Позже Чертаново озеленилось и превратилось в чудесный край. Но в 1970 году вокруг нашего дома не было ничего, кроме грязи, грязи и ещё раз грязи. Грязь лежала всюду. Помимо грязи, Чертаново было богато пустырями и густой лесопарковой зоной, где встречались лоси и лисицы и где росли настоящие грибы, из коих можно было варить суп. Сегодня ничего этого нет. Грязь убрана с улиц, из леса ушли лоси, исчезли лисицы, изгнаны зайцы, а сам лес завален новым, куда более обильным мусором…

***

Итак Индия…

Когда я пошёл в пятый класс, мы в 1970 году вновь, после двухгодичного пребывания на родине, уехали в Дели. Только отец теперь работал там в чине заместителя торгпреда СССР и одновременно занимал должность по линии внешней разведки. Я этого не знал. Затем состоялся разговор, в котором он открыл мне, что он — сотрудник разведки, капитан КГБ. Я не понял того, что он мне сообщил. Я вообще мало что понимал.

Работал он много. Пил тоже много, если не сказать, что чересчур много. Ссоры в семье стояли убийственные. Любая командировка в Бомбей или Мадрас заканчивалась душераздирающим скандалом со стороны моей матери. Всякий раз она готовилась к ссоре дня за два, начинала мрачнеть, сосредоточенно вычисляя что-то и выстраивая в своём уме непостижимый женский логический лабиринт, выхода из которого не существовало ни для кого. Она встречала Юрваса в аэропорту и уже по дороге домой начинала делать какие-то намёки на то, что ей, мол, известно о чём-то.

— Что ты выдумываешь, Нинка? — возмущался Юрвас.

— А ты думаешь, я не понимаю, зачем ты туда летал? Всё с этой, со своей профурсеткой встречаешься! Мне всё известно, мне обо всём сообщили! Думаешь, только у тебя есть друзья и знакомые?

— Послушай, ты просто дура! Неужели ты полагаешь, что я организовал себе командировку из-за какой-то бабы? Кто тебе глупость такую сказал?

— А ты думаешь, у меня собственной головы нет? Ты только ради этой проститутки и потащился в Мадрас. Какие ещё у тебя там могут быть дела? Мне про эту стерву всё рассказали…

И дальше в таком же духе. Я знаю об этом, так как несколько раз я был с ними в машине, когда они выясняли отношения по дороге из аэропорта Палам, который позже стал носить имя Ганди. То были чёрные времена. В школе у меня не ладилось, я приносил плохие и очень плохие отметки. Мать злилась:

— Ты что? Как мы людям в глаза смотреть будем? У других дети нормально учатся, а ты на что похож?

Однажды я не выдержал и, возвращаясь из школы, выбросил дневник в мусорный ящик, стоявший у нас во дворе. В дневнике были очередные двойки и тройки, возможно, оценки за четверть или полугодие. Поступок был нелепым, но я твёрдо настаивал на том, что понятия не имел, куда мог подеваться дневник. Тут меня не могли сломить никакие допросы. Не знал я, куда этот треклятый дневник подевался. Не знал и не хотел знать. Не мог я стерпеть очередных сований меня мордой в стол по поводу неудовлетворительных отметок. Это было похоже на пытку. Я не

переношу пыток. От физической боли я легко могу потерять сознание, поэтому меня бессмысленно пытать…

Я подозреваю, что мать сходила в школу и посмотрела журнал нашего класса, сделать это было легко. Я был наивен, вышвырнув дневник в мусор. Бешеная брань в мой адрес продолжилась.

— У других дети, как дети, а ты? Почему Галя Приписнова учится на одни пятёрки? Почему Олег Щедров легко разговаривает по-английски, а Таня Клименко даже песни поёт на английском языке? Почему у тебя ничего не получается в школе? Почему ты только рисовать любишь? Что ты будешь делать со своими рисунками, когда вырастешь? Когда ты за голову возьмёшься? Ты подумай, какую должность занимает папа!

При чём тут должность папы? Какая связь между моей учёбой и его должностью, я уразуметь никак не мог. Разве могли мои отметки как-то повлиять на его должность? А главное — я не мог понять, почему они могли жить так, как жили, то есть ругались напропалую, забыв обо мне, или напивались по очереди, а я должен был подстраиваться под их социальное положение и «соответствовать» этому положению. Почему я не мог быть тем, кем я был? Почему я должен был изображать из себя кого-то иного? Зачем мне было любить химию, если она не нравилась мне? Как я мог любить физику, если она для меня скучна?

До сих пор не понимаю, почему мои родители не умели гордиться моими лучшими сторонами. Почему они не гордились тем, в чём я был талантлив? Почему, вспоминая о моём пристрастии к рисованию и сочинительству, говорили:

— Это просто увлечения! Этим прокормиться невозможно!

А когда я, будучи четырнадцати лет, внезапно открыл для себя мир кино и взял в руки кинокамеру, решив, что посвящу себя созданию кинофильмов, мать презрительно бросила мне:

— Неужели ты хочешь всю жизнь крутить ручку кинокамеры?

Я почему-то испугался её слов, но не отказался от кинокамеры и даже снял мультипликационный фильм, главным героем которого были игрушечные автомобили и пластилиновая горилла красного цвета. А много лет спустя, закончив МГИМО, отработав положенный молодому специалисту срок в Министерстве Внешней Торговли, потрудившись затем фотографом в МАХУ, я был зачислен во ВГИК (сразу на второй курс). За эти годы я так и не предал мою любовь к кинематографу, продолжал «крутить ручку кинокамеры», попал на телевиденье и почти семь лет работал режиссёром и оператором.

Но этот извилистый путь мне ещё только предстояло пройти,

приняв после смерти отца первое в моей жизни по-настоящему самостоятельное решение изменить что-то в моей жизни. До тех же пор я жил под крылом родителей, не в силах ничего противопоставить их напористости и их «знанию жизни». Послушание часто бывает плохим помощником.

Моя мать не всегда была Горгоной, но порой она становилась ужасна. Мне нелегко говорить об этом, ибо мои родители живут во мне, составляют часть меня, а я — ношу в себе часть моей матери и часть моего отца. Я есть неотъемлемая часть моей семьи, из какой бы глины ни была слеплена эта семья, и шлейф всех человеческих качеств моих предков тянется за мной из глубины веков.

Мне горько вспоминать поведение моей матери в те годы. Теперь она заметно изменилась, стала старенькой и более мягкой, но мудрости (увы!) не приобрела. Она всегда сетовала на то, что Юрвас был для неё стеной, затмевал весь мир, что именно он не дал ей развиться.

Как развиться?

Разве можно не дать развиться тому, что имеет бесконечную потребность и силу для развития? Разве можно остановить рост стебелька, который пытается пробиться из-под асфальта и в конце концов пробивается, наплевав на все законы физики?..

Я не могу понять, как отец работал в тех условиях. Мать была кошмарна. Она истязала и меня, и его. Его в первую очередь. А ведь результаты на работе у него были, как я понимаю, фантастические. Взять хотя бы его тесную дружбу с сыном Индиры Ганди — премьер-министра Индии тех лет. Такие агенты влияния многим другим разведчикам и не снились.

Позже, в разведшколе, один из моих приятелей показал мне учебное пособие, в котором анализировалась работа политической разведки за 1970-е годы, и я увидел имя моего отца, которое было упомянуто в самом лестном для меня виде. Всегда приятно встретить в серьёзной литературе имена знакомых тебе людей, но особенно приятно прочитать имя отца. Перечитать по буквам… Он был мастером своего дела. Он имел колоссальный успех, несмотря на царивший в семье кошмар.

Скупые упоминания о том времени я нашёл в тетрадке, куда Юрвас изредка заносил свои мысли.

«Сентябрь 1973. Гуляешь утром, часов в шесть, по территории и вспоминаешь слова: “Если есть рай, то он здесь”. Вся территория утопает в зелени и цветах, листья деревьев, асфальтовые дорожки, брильянтовая трава — всё это вымыто дождём. Тишина, ярко-голубое небо с пышными узорами облаков. Как in the garden of Allah. Никто на тебя не наорёт, не набьёт тебе

морду, не зашипит злобно, проходя мимо».

«23 сентября. Раздражает, что по несколько раз в день вырубают свет, особенно, когда играет музыка (магнитофон, проигрыватель)».

В 1971 году электричество в Дели выключали регулярно из-за того, что шла пакистано-индийская война. Фары на машинах были заклеены чёрной бумагой, оставлялась лишь узенькая полоска для света; по нашей территории ходили дежурные и проверяли, не зажёг ли кто чрезмерно много свечек в квартире, стали постепенно отправлять в Москву женщин с маленькими детьми. Нам, тринадцатилетним мальчишкам, всё это казалось крайне забавным. Мы даже бегали по нашей территории с фонарями в руках и светили ими в пролетавшие над нами самолёты. Мы не подозревали, насколько это могло быть опасно... Война закончилась быстро, почти стремительно, но электричество продолжало отключаться и в 1972, и в 1973, и в 1974 годах, хотя значительно реже, чем во время войны. Индия не очень беспокоилась об электричестве. Подавляющая часть её населения до сих пор живёт в глиномазанных хибарах, прикрытых пальмовыми листьями, где об электричестве никто никогда и не мечтал.

«3 октября. Неожиданно наступила хорошая погода, а утром ещё прошёл дождь. Стало совсем, как в сказке.

Вечером имел разговор ни о чём с Ниной. Она: если меня не видели днём ни в посольстве, ни в торгпредстве, то где я бываю? И куда я езжу каждый вечер? Я: ведь даже хорошему писателю, чтобы написать, нужно что-то увидеть, а я не писатель, но должен много записывать. Если я сижу и пишу, значит, я сначала должен что-то сделать.

А потом опять бесконечная тема о разводе, о разделе, об отъезде в Москву и т.д. Пришлось уйти из дома».

Юрвас не понимал главного — его жена не поддавалась убеждениям. Её невозможно было убедить, вразумить. Он же продолжал объяснять ей, втолковывать, спорить. Нина Ивановна была женщиной красивой, яркой, но очень неглубокой. К сожалению, многим умным людям достаются именно такие жёны, но умные люди готовы понять и признать что угодно, только не то, что они «промахнулись» в выборе спутницы жизни. Юрвас тоже не хотел согласиться с тем, что совершил эту ошибку. Поэтому на всякий идиотский выпад жены он пытался ответить ей доходчиво, внятно и убедительно.

«6 октября. Нина потребовала взять билеты в Москву, так как, оказывается, возвратилась Светлана Гуральская!? Почему — просто она терпеть её не может!

Весь день был испорчен».

Иногда Юрвас уходил к Леониду Шебаршину (заместителю резидента в Дели) и просил его вразумить Нину. Как проходили эти вразумления, я не знаю, ибо при мне ни разу не было разговора между моей матерью и Шебаршиным.

«Тренировка мозга. Анализ поступков (поведения) и причин такого поведения. Контроль за этими поступками в дальнейшем…

Для моего характера (и совместимости с нининым) нужно заставить себя не обращать внимание на её постоянные нелепые обвинения и слежку за мной. Заставить себя рассматривать это, как положительный момент. Превращать её вопросы в шутку, не “заводиться”, избегать опасных тем, которые непременно приводят к ссоре. Не поддерживать ссор, помнить о том, что доказать что-либо Нине невозможно».

Однажды произошла очередная ссора. Я сидел за письменным столом, пытаясь делать уроки, а родители мои яростно грызлись. Вдруг отец резко поднялся и сказал матери:

— Ну и чёрт с тобой! Живи! Живи одна! Больше меня не увидишь!

Он хлопнул дверью. Я сжался. В том хлопке двери сконцентрировался весь ужас, который я мог представить. Через минуту дверь распахнулась, и в коридор влетели какие-то тряпки. Увидев их, я понял, что это — висевшее на просушке бельё. В следующую секунду я понял другое — Юрвас снял бельё, чтобы забрать верёвку. Мысль ещё не успела сформулироваться у меня в голове, а я уже вскочил на ноги и бросился за отцом. Вместе со мной вылетела за дверь и моя мать. Должно быть, до неё вдруг что-то дошло. Испугалась она не на шутку.

Был поздний вечер. В Индии темнеет очень рано, мы шли в кромешной тьме. Отец быстрым шагом шагал прочь от дома. Мы бежали за ним, я видел болтавшуюся из его кармана бельевую верёвку, гладкую, белую, выразительную. Догнав его, мать принялась извиняться, хватать его за руки, за плечи. Она поняла, что шутки кончились. Он и впрямь шёл вешаться.

Дальше помню смутно. Мы долго ходили, они продолжали покалывать друг друга словами, успокаиваясь, сглаживая накалённость обстановки. Когда мы проходили мимо здания, где располагался клуб, отец вдруг снял с ноги сандалию и швырнул её вверх. Сандалия улетела на крышу…

Так минуло три года. За это время я сумел полюбить английский язык и возненавидеть химию, я начал интересоваться девочками, оставаясь при этом на редкость целомудренным мальчишкой. Я побывал в Бомбее, Мадрасе, Удайпуре, Гвалиоре, Кашмире и многих других чудесных уголках Индии. После

окончания седьмого класса меня отправили в Москву и оставили в интернате, который вошёл в историю моей жизни как Приют. В восьмом классе надо было сдавать выпускные экзамены, а в Дели не было такой возможности. Вот я и возвратился на Родину, которая в те дни казалась мне страной дикой и страшной. Больше половины моей жизни на тот момент я провёл в Индии. Москва была для меня чужой страной, территорией кошмара.

«Кусочек хлеба, стакан кефира, и кайф играет в голове. Родная мама меня не узнает, когда на свиданье приедет ко мне». Это строки из нашей приютской песни. Другой популярной песенкой в то время у нас была мелодия «По приютам я с детства скитался» из фильма «Республика ШКИД».

***

Москва меня потрясла. Она показалась мне страшной, необузданной. Дели значительно грязнее Москвы, заплёваннее, пахучее, но территория советской колонии была идеально чистой. Москва обдала меня грязью. В том числе и грязью слов. Здесь я понимал всех, стало быть, слышал и понимал любое ругательство на улице. Вообще жизнь в советской колонии была для детей в некотором смысле жизнью идеальной. Там никто не ругался на улице, никто не дрался. Всё было тихо, спокойно, правильно.

Поток московской матерщины меня просто сломал. За три года в Дели я успел забыть и жестокость школьных коридоров, и жестокость улицы. Я не был готов к той волне необузданной беспощадности, которой встретила меня Москва. А тут ещё интернат — надо было жить бок о бок с чужими людьми, ходить в общий туалет, чистить зубы над общим умывальником, ночевать в одной комнате с посторонними парнями, вслушиваясь в их совсем не мальчишеский храп. Многие из моих будущих товарищей поначалу показались мне тупицами. Сейчас, оглядываясь туда, я думаю, что в действительности я был не столько ошарашен их ограниченностью (сам-то я был не намного интеллектуальнее, а вскоре опустился ниже многих моих одноклассников), сколько просто испугался их. Я не был приучен к грубости, наглости, хамству, агрессивности в отношениях между детьми, а в школе можно было запросто получить хорошего тумака от какого-нибудь дебила, если не подсказать ему на уроке английского языка.

Одним словом, я вступил в новую жизнь. Крохотного щенка швырнули в морские волны, даже не предупредив его о том, что

где-то есть море.

— Плыви, малец!

Отец вернулся в Дели, а мать ещё некоторое время находилась со мной в Москве. Должно быть, оттягивала своё возвращение в раскалённую столицу Индии. Не любила она Дели, отчаянно не хотела ехать туда и всё время вываливала на Юрваса какие-то помои. Я пытался разобраться, что с ней происходило, но она отказывалась от моего внимания, злилась.

Как-то раз, когда я был дома, она крепко выпила и швырнула в меня бюст индейца (был у меня такой бюст краснокожего воина, сделанный из папье-маше), индеец раскололся, ударившись о стену. На столе у меня лежал длинный скальпель, которым я чинил карандаши, и я почувствовал всей кожей, что через несколько минут этот скальпель воткнётся в меня. Я тихонечко спрятал этот тяжёлый нож в выдвижной ящик моего стола, стараясь делать это плавно, без резких движений, дабы не привести мать в неуправляемое состояние. В то время я не был готов к смерти.

Мать частенько говорила с отцом о разводе, мол, разведёмся мы, тогда и посмотрим, кто есть кто. Я не понимал, о чём она твердила. Знал лишь одно: ни с кем из них не останусь. Моя семья состояла не из отдельных отца и матери, а из их совместности, из их единства. Хотя единство это было тягостным. Впрочем, я верил, что однажды у них всё наладится.

А мать заканчивала каждый наш с нею разговор одной и той же фразой:

— Иди, иди к своему папочке!

Мне казалось, что в ней не было по отношению ко мне ни самой малости любви. Но даже теперь, когда я смотрю на всё абсолютно трезвыми глазами, мне хочется думать, что это моё мнение (об отсутствии в ней любви ко мне в те годы) было ошибочным. Она не могла не любить меня. Просто она не умела выразить свою любовь.

Когда она уехала к Юрвасу в Дели, я будто утонул. Вокруг меня колыхались тяжеленные волны абсолютно чужих мне чувств и эмоций. Мир был заполнен всем самым для меня гадким и враждебным. Мне казалось, что я просто умру.

Но я не умер. И это доказывает, что свыкнуться можно со всем, даже самым неприемлемым. Теперь я вспоминаю о Приюте, как об одном из самых чудесных периодов моей жизни.

Меня пытались научить курить, но я отказывался, так как не видел в этом ничего вкусного. Меня приучали к картам, однако я не втянулся, не было во мне азарта. Зато мне открылся безбрежный мир женщин, о котором я, естественно, догадывался

и имел смутное представление, но которого никогда не знал прежде. Почти в каждой комнате были спрятаны где-то фотографии с голыми девицами; эти фотографии воспламеняли воображение и тело, но не приносили удовлетворения. Меня окружали мои сверстники и мальчишки постарше, я мог поговорить на эту тему. В Индии я был практически лишён такой возможности, так как ребят рядом со мной было очень мало (наш класс насчитывал всего семь человек).

Однажды я получил от папы письмо, в котором он сообщил мне: «Мы уже целый месяц совсем не ругаемся с мамой». Эта новость не просто порадовала меня, но превратила на некоторое время в счастливейшего из людей. Папа и мама не ссорятся! Что может быть лучше? Что может быть замечательнее? Что может быть волшебнее? Что может быть невероятнее?

И вот я приехал к ним на лето. Ожидание было долгим, но оно оборвалось пропастью безысходности. Я прилетел в Индию, мою родную Индию, и обнаружил, что родительские ссоры, к сожалению, продолжались. Помню, как после очередного скандала отец взял меня с собой в ресторан.

— Поехали посидим где-нибудь.

Он пребывал в отвратительном состоянии. Мать опять ревновала, начала крепко пить…

Ревность. Страшная, разрушительная сила. Эта стихия не поддаётся усмирению разумом и потому губит всё, что попадается ей на пути. Уничтожает людей любимых и людей ненавидимых.

Юрвас отвёз меня в какой-то ресторанчик и неожиданно для меня поведал мне о своей жизни. Он оказался замечательным стратегом, он опередил мою мать. В его изложении история его жизни оказалась более трагичной, чем это могло бы выглядеть в устах моей матери. Моя мать никогда не сделала бы тех акцентов, которые поставил Юрвас. Именно таким и должен быть разведчик. Много лет спустя я оценил это…

В ресторане царил полумрак, играл оркестр. Обстановка для меня была новой и приятной. Сидя напротив меня с кружкой пива, отец рассказал мне, что уже был женат однажды. Я видел, что эти слова дались ему нелегко. Он не знал, как я восприму наличие какой-то женщины, которая была ему когда-то женой. Я слушал спокойно, старался никак не реагировать. Да и как мог я реагировать? Хохотать? Плакать? Хмуриться? Я просто слушал.

Ту жену звали Валентина. Позже я не раз слышал её имя во время родительских ссор.

Я не могу ручаться за то, что Юрвас и Валя любили друг друга по-настоящему. Возможно, они вообще были просто

товарищами, которым подвернулась возможность уйти от родителей, а заодно и начать активную половую жизнь. Но как бы то ни было, однажды их чувства угасли. Они захотели чего-то иного. Юрвас повстречал Нину, а Валентина — кого-то ещё. У них был уговор: не мешать жизни друг друга, не вторгаться в интимные отношения. Отец условился с Валей о знаке на тот случай, если кто-то из них приводит в дом любовника (любовницу). Таким знаком была воткнутая в дверь булавка. Однажды он вернулся домой с работы и, дёрнув дверь, обнаружил, что она заперта изнутри. К своему удивлению, он обнаружил воткнутую в дверь булавку.

— Это было подобно плевку в рожу! — признался он мне. — И тогда я понял, что наша семья на самом деле кончилась. Я уже встречался с Ниной, но не думал, что мои отношения с Валей завершатся…

Он ждал от меня понимания, но я был слишком мал для того, чтобы ответить ему. Я не мог знать, что такое семья с точки зрения взрослого мужчины. Я не мог знать, что такое сексуальные связи. Для меня эти отношения лежали пока в области далёкого будущего, почти неосязаемого будущего. Я не мог понять Юрваса, я понял только ход изложенных событий, но обсудить это у нас с ним не получилось.

Мне жаль, что отец мало общался со мной. Сначала я был мал и не был готов к разговорам, затем я повзрослел, но Юрвас стал слишком занят.

***

Последнее школьное лето в Индии.

Я приехал на каникулы после окончания девятого класса. Отец подарил мне гитару, и я подолгу просиживал на балконе, бренча на ней, чем околдовывал слух и сердце девочек, которые под балконом подслушивали, как я перебирал струны. Испанское ухаживание наоборот — не мужчина под балконом с гитарой, а женщина под балконом мужчины, играющего на гитаре. В советской колонии я был единственным мальчишкой с гитарой.

В то лето мы отправились в поездку по Индии. «Детская» половина нашей группы состояла из меня, Антона Руднева, Миши Галузина и Катерины Фадеевой. Мы были веселы и беззаботны. Мы не думали о будущем. Нас не интересовало наше будущее. Мы жили настоящим днём, купались в тяжёлых океанских волнах, подставляли себя раскалённому солнечному воздуху. Мы не

знали, что ждёт нас впереди. А судьбы сложились по-разному. У Кати Фадеевой родится два ребёнка, а третий умрёт совсем младенцем; у неё не сложится семейная жизнь, она уйдёт от мужа и займёт хорошее место в компьютерном бизнесе. У Антона Руднева сгорит заживо на даче младший братишка, а сам Антон в тридцатипятилетнем возрасте, будучи в Риме, выбросится из окна, и причина его смерти останется для всех неразгаданной тайной. Миша Галузин станет японистом, взлетит вверх по карьерной лестнице и много лет проведёт в Японии.

Но в то время, о котором я вспоминаю, мы были юны и счастливы выдавшимися нам школьными каникулами. Интересно, смогли бы оставаться столь же счастливыми, если бы знали, что нас ожидало впереди?

В аэропорту нам «внезапно» встретился господин К, крупный индийский бизнесмен, которого мы с лёгкой руки Миши Галузина прозвали Коньяком за его пристрастие к выпивке. Этот Коньяк проехал с нами по всем городам, и лишь много позже я узнал, что его поездка была заранее предусмотрена Юрвасом по работе, а мы, то есть наша молодёжная компания, были всего лишь ширмой. Но выглядело всё вполне естественно.

Однажды Юрвас привёз меня к Фадеевым (они жили не на территории посольства, а в городе, в доме со сторожем-индийцем) и сказал:

— Андрюха, жди меня здесь. У меня очень важная встреча. На обратном пути я заеду за тобой.

Что это была за встреча, я не знаю. Юрвас часто брал меня с собой для прикрытия. Иногда я сопровождал его в ресторан, иногда — в другой город. Временами мне приходилось «брать на себя» детей тех людей, с кем Юрвасу нужно было поговорить без помех, и тогда я занимал детвору беседами на отвлечённые темы.

Саша Фадеев, отец Катерины, работал вместе с моим отцом в разведке, и они долго обговаривали какое-то дело. Затем Юрвас уехал. Мы провели с Катериной обычный вечер, наслаждаясь беспредметной трепотнёй и слушая пластинку Сюзи Кватры (эта блондинистая бас-гитаристка в то лето буквально околдовала нас). Юрвас вернулся к полуночи и был сильно пьян. Точнее сказать, он был пьян настолько, что едва мог двигать руками и ногами. Как мне сказал позже один из его сослуживцев, это был стиль работы Юрваса. Он всегда крепко пил и считал, что без выпивки его отношения с агентом ничего не стоили, да и агента легче сломать за дружеской попойкой, в которой теряются все границы. Что ж, каждый выбирает свой путь.

Я сел за руль. Едва мы уехали от Фадеевых, отец сразу уснул в машине. В то время у нас была зелёненькая «тойота-корона»,

очень лёгкая в управлении и очень подвижная. Я думаю, что Юрвас начал учить меня управлять машиной (когда мне было тринадцать лет), чтобы я мог помогать ему в таких страшных ситуациях. Я не знаю, на какие силы он опирался, когда ехал с задания в тяжёлом опьянении, но отключался он, попав в «свои» руки, сразу. Мне стоило немалых трудов выгрузить его из машины и поднять на третий этаж, где мы жили.

Возвращение Юрваса из Индии было внезапным и стремительным.

После смерти отца мама рассказала, что индийская контрразведка устроила за Юрвасом абсолютно нахальную слежку, сидели у него «на хвосте» нагло, не таясь. Однажды его машину (с неприкасаемым дипломатическим номером!) остановили на ночном шоссе какие-то люди, попросили выйти и сильно избили.

— Он всю ночь после этого ходил в ванную, — вспоминала мама, — всё сморкался и сморкался, в носу что-то мешало ему после удара. Страшно было. Просто страшно. Ведь нам всем казалось, что индуи не смеют поднять руку на белого человека, но вот посмели…

«Миролюбие индийского народа становится общепризнанным штампом. Штамп кочует из брошюры в брошюру, из статьи в статью, из речи в речь, пробивается в официальные документы. Хитроумные индийцы умело подпитывают это мнение. Первое же серьёзное соприкосновение с индийской действительностью развеивает этот миф... Жизнь в Индии жестока к тем, кого она не милует и в других странах — к неимущим, к национальным меньшинствам, к чужакам, к слабым вообще». Это слова Леонида Шебаршина, который лучше многих других познал индийцев, работая в те годы резидентом в Дели.

Юрвас был для индийцев не просто чужаком (несмотря на множество друзей в правительстве Индии), но чужаком опасным — он забрался чересчур высоко, поэтому его следовало остановить любым способом. Он умел быть своим, где бы ни появлялся. Сдружился он и с одним из сыновей Индиры Ганди — Санджаем. А это было слишком глубоким вскапыванием политической почвы, недопустимо глубоким вскапыванием. Ни одна контрразведка не может позволить такого.

Позже Санджай погиб, разбился на самолёте. Он увлекался самолётами. Самолёты любил и мой отец. Случайное ли это совпадение? Официальная версия гласит, что Санджай разбился из-за какой-то неполадки двигателя. Но редкий из людей, работавших в Индии по линии советской разведки, допускает возможность случайной гибели Санджая. Все говорят, что он был

убит, хотя доказательств тому не нашлось. Это была первая смерть в серии политических убийств в семье Ганди. После Санджая была убита его мать Индира Ганди, затем погиб от руки убийцы Раджив, её второй сын.

Юрвасу велели покинуть страну в 24 часа. Сотрудники резидентуры вывезли его в аэропорт заранее, тайно, чтобы избежать возможных эксцессов, и он весь день просидел в самолёте, в полном одиночестве, ожидая взлёта. Полагаю, что чувствовал он себя не лучшим образом и о многом успел подумать.

Во время своего очередного визита в Москву Индира Ганди неожиданно для советской стороны стала просить, чтобы ей разрешили встретиться с Юрием. Никто не мог понять, о каком Юрии она вела речь. Кто-то предположил, что она имела в виду Юрия Андропова, возглавлявшего в те годы КГБ. Затем выяснилось, что она привезла какое-то письмо от Санджая. Юрвасу передали это послание позже, но никто из его коллег так и не смог сказать мне, что это было за письмо. Наверняка руководство Главка ознакомилось с содержанием письма. Возможно, там были просто слова дружбы…

Что я знаю о работе Юрваса в Индии? Практически ничего. Поначалу я не задавал ему вопросов, так как меня не интересовала его работа. Когда же я осознал, чем он занимается, я не осмеливался задавать вопросы, ибо он не мог на них отвечать.

Но какие-то крупицы проскальзывали. Так, однажды я узнал о том, что он летал в Кашмир не по своим документам. В чём была причина, точно сказать не могу, но знаю, что его имя не должно было «засветиться» в этот раз при поездке туда. Поэтому он взял паспорт Виктора Руднева (второй заместитель торгпреда) и с этим паспортом сел на самолёт. Юрвас был уверен, что индийцы не обратят внимание на то, что в паспорте вклеена чужая фотография, если он будет вести себя беззаботно. Он даже взял в рот сигарету, будто бы намереваясь закурить; чиновник же попросил его отойти с сигаретой в сторону. Юрвас неторопливо отошёл, чиркнув спичкой. Затем его окликнули, мол, ваши документы готовы, проходите дальше, сэр. Это был, конечно, огромный риск. У меня есть подозрение, что о том, что Юрвас воспользовался чужими документами, в резидентуре никто не знал.

В Дели мы не раз появлялись в доме господина Д. Леонид Шебаршин в книге «И жизни мелочные сны» называет его Джаганатхан. «Джаганатхан был талантливым, на грани гениальности учёным-микробиологом. Он был настолько

талантлив, что получил в США собственную лабораторию, где увлечённо работал над средствами противодействия бактериологическому оружию… Джаганатхан время от времени бывал в Индии, и в один из приездов уважаемый родственник познакомил его с русским. Русского звали Юра, он работал в торгпредстве и был очарован Индией». Речь идёт о моём отце. «Скоро, очень скоро Джаганатхан рассказал своему новому другу о секретной лаборатории в далёких Соединённых Штатах, поделился сомнениями и страхами, даже совета попросил: не бросить ли ему эту сытую и чуждую жизнь, не возвратиться ли в Индию?» — продолжает Шебаршин, в то время ставший резидентом в Дели.

И вот в один прекрасный день господин Д исчез для всех своих близких. Исчез без следа. Его жена много раз обращалась к Юрвасу с вопросом, нет ли хоть какой-нибудь информации о нахождении Д, не слышал ли он чего-нибудь. Она плакала и не могла найти причину исчезновения мужа. Юрвас лишь пожимал плечами и сочувственно покачивал головой. Между тем, он был одним из тех, кто организовал тайный выезд господина Д в Москву.

Но я об этом ничего, разумеется, не знал. Я вообще не знал, что Д куда-то подевался.

И вот как-то раз в Москве я встретил этого самого Д. Юрвас привёз его на нашу квартиру. Мы пили чай. Отец просил меня поставить пластинку с музыкой Индии (ситары, тамбурины, таблы), но при их разговоре я не присутствовал. Когда Д уехал от нас, Юрвас предупредил меня:

— Если кто-то вдруг спросит, что это за темнокожий человек к вам приезжал, отвечай всем, что это туркмен или узбек, плохо говорящий по-русски. Никаких упоминаний об Индии.

Когда я наконец узнал о том, что в действительности Д был тайно увезён в Москву, мне сделалось весьма не по себе. Я расценил это как похищение человека. Как же так? Мой отец — участник похищения? Это шокировало меня не меньше, чем информация о том, что моя бабка покончила с собой, а не умерла обычной смертью.

Но такова работа разведчика. Как-то отец сказал мне:

— На нашей работе мы вынуждены обманывать других людей и даже часто причинять боль не только им, но даже их близким, хотя они этого не заслуживают. Увы, нам приходится делать это ради нашей Родины. Мы ведём войну без выстрелов и взрывов. Мы ведём невидимую войну, чтобы не случилась война видимая, с выстрелами и взрывами. Иногда ради этого мои друзья погибают…

Много лет спустя я разговаривал с Валерием Буренковым, и он поведал мне, что он занимался организацией быта мистера Д, подбирал для него повара, знакомого со всеми тонкостями индийской кухни. Он признался, что на тот момент он понятия не имел, для кого именно подготавливалась тонкая схема приёма некоего «гостя» с индийскими вкусами. Лишь путём многочисленных сопоставлений он позже сумел понять, кому предназначалась квартира, восточные кушанья и служанка со знанием хинди.

Впрочем, возвращаясь к теме похищения, должен заметить, что между похищением и нелегальным вывозом человека (при его согласии, готовности и желании выехать) есть существенная разница, великая разница, принципиальная разница.

***

Когда Юрваса привезли из Женевы на носилках, многие из его агентов не могли понять, что произошло, почему он внезапно исчез. В конце концов, они отказались работать с тем, кого прислали на место Юрваса. Такова сила дружеских связей.

Как-то раз (я работал тогда ещё в «Медэкспорте») раздался звонок у нас в секретариате, и голос спросил мою фамилию. Я подошёл и услышал испанскую речь. Кто-то затараторил, приняв меня за моего отца:

— Юрий, как дела? Наконец-то я нашёл тебя! Куда ты вдруг пропал?

Я вежливо остановил говорившего и объяснил, что я вовсе не Юрий, а его сын. Надо сказать, что нас многие путали по телефону из-за похожести голосов. Испанец стушевался и спросил, что с Юрием. Я ответил, что Юрвас попал в больницу. Голос замолк. Затем в трубке раздались гудки. Больше того человека я не слышал.

После смерти отца я вспомнил об этом эпизоде в разговоре с моей матерью, и она сказала:

— Я знаю, кто это звонил. Он, как мне говорили, долго искал Юру, не хотел работать ни с кем другим…

И я вспомнил сцену, когда к отцу приехал Юрий Иванович Попов — в то время резидент в Женеве.

Я не слышал всего их разговора, но один эпизод задел мой слух, и это дало мне понятие об очень большом пласте работы этой службы.

Попов просил моего отца передать ему на связь какого-то

агента. Агент, судя по всему, был очень важным. Но мой отец ответил:

— Нет, это мой человек!

Я не понял тогда глубины этих слов. «Мой человек»…

Есть агенты, которые наотрез отказываются продолжать работу, когда их передают другому разведчику. Видно, таким был «его человек». Вероятно, мужчина, дозвонившийся мне в «Медэкспорт», и был тем самым агентом. Он искал Юрваса, он не желал иметь дела больше ни с кем, он верил только ему. Но Юрвас внезапно пропал, и агент, вероятно, запаниковал: исчез тот, кому он бесконечно доверял, а это могло означать провал.

Юрвас же, прикованный к постели, всё-таки надеялся вернуться на службу, не думал о смерти, сопротивлялся ей. И «тот человек» был для него своего рода стимулом, маяком, фундаментом, на котором будут построены новые обелиски побед. Попов просил Юрваса написать «тому человеку» хотя бы письмо, но отец не согласился.

Он любил почёт и уважение, любил быть первым, любил добиваться невозможного.

А ведь к тому времени он уже устал от разведки.

Виталий Буданов, мой шеф в «Медэкспорте», вспоминая о своей поездке в Женеву, рассказывал мне, как он ехал однажды в машине с моим отцом, и Юрвас сказал:

— Устал я от этой работы. Надоела бесконечная конспирация, «наружка» и вообще всё…

— Юра, а ты не боишься, что здешние «ребята» прослушивают тебя? — спросил Буданов, не без основания опасаясь, что в автомобиле могли стоять «жучки».

— Да пусть прослушивают. Они же прекрасно знают, кто есть кто…

И всё же, смертельно больной, он продолжал строить планы, думать о работе и даже не желал «поделиться» своей лучшей агентурой с коллегами.

***

Но до смерти Юрваса ещё далеко.

После высылки из Индии (это, кстати сказать, была очень тихая высылка, без официальных бумаг, без шума) Юрваса отправили на УСО (курсы усовершенствования).

— Это просто дом отдыха, — говорил он, приезжая домой на выходные дни, — читаешь себе и читаешь, больше ничего не

делаешь. Жаль только, что большинство людей там не ложится спать до глубокой ночи, галдят, уснуть не дают… Очень много пьют…

Сам он практически бросил пить к тому времени. С чем это было связано? Не знаю. Для меня это было радостно, ибо я не переносил пьяного отца и даже едва уловимый запах спиртного, исходивший от него, действовал на меня угнетающе. Должно быть, этот запах увязывался в моей голове со всеми пережитыми ранее кошмарными сценами родительских ссор.

Так или иначе, но отец почти перестал пить. Он сильно изменился после возвращения из Индии.

Однажды он принёс мне журнал «Плэйбой».

— Взгляни-ка на это. Только так, чтобы мать не видела, а то она нам обоим отгрызёт голову. Тебе пора уже понять, что да как…

Журнал был на немецком языке, так что содержание статей и рассказов осталось для меня неизвестным, но не это было главное. С ярких глянцевых фотографий на меня смотрели красивые женщины. Их позы были столь беззастенчивыми, а тела столь великолепны, что у меня перехватило дыхание. Некоторые из женщин показались мне вовсе не людьми, а существами иного сорта. Они излучали свет, которого я не видел прежде. В них таилась сила, пронзившая меня стрелами раз и навсегда. Я был покорён тем, что я увидел. И дело было не в элегантно расставленных стройных ногах, нет. Внезапно я обнаружил, что женская природа — вовсе не то, о чём мы шептались с парнями в туалете, и то, о чём сообщают сальные анекдоты.

Думаю, что причиной этого озарения был именно Юрвас. Он дал мне тот журнал и тем самым вывел женскую тему из тени непристойности.

Я чувствовал, что Юрвас хотел сблизиться со мной, стать моим другом, но этого, к сожалению, не получилось в те годы из-за моей загруженности в школе — я заканчивал десятый класс и готовился к поступлению в МГИМО. Мне было не до душевных разговоров. Как-то раз он увидел на моей руке написанное бритвой имя одной девочки. Он лишь покачал головой, но обсуждать мою мальчишескую глупость не стал — понимал что к чему. Иногда он всё-таки заговаривал со мной о женщинах, рассказывал что-то из своего прошлого, но всякий раз это получалось как-то обрывочно, скомкано, невнятно. Да и сам я стеснялся таких бесед. Я любил отца, но не видел в нём друга, с которым я мог поделиться тем, что лежало в глубине моего сердца.

Я был одиночка. Таким я и остался.

После высылки из Индии отец был сильно подавлен. Вероятно, он решил, что его карьера в разведке окончена. Но учёба вернула его в нормальное состояние. Он успокоился.

Юрвас был уверен, что время проведённое на курсах, было настоящим отдыхом. Я не знаю. Для меня его нахождение на УСО запомнилось тем, что в институте я познакомился с девочкой по имени Маша (её отец учился вместе с моим на УСО). Позже Маша вышла замуж за Мишу, который носил знаменитую фамилию Коллонтай и, как поговаривали, являлся родственником знаменитой Александры Михайловны Коллонтай. А ещё позже я обнаружил, что жена моего приятеля Володи (в школе он носил кличку Дуня) училась с этой Машей в одном классе. Оказалось, что мир неправдоподобно тесен.

***

Мы, дети чекистов, мало думали о наших родителях. Их работа казалась нам делом далёким и малоосязаемым.

Николай П был для меня дядей Колей. Он отменно играл на гитаре и даже дал мне несколько уроков (у меня была чешская гитара с нейлоновыми струнами, и я тренькал на ней двумя-тремя аккордами). Дядя Коля всегда напоминал мне старшего из сыновей дона Корлеоне из фильма «Крёстный отец». Мне казалось, что он был копией Сантино — сын дона Корлеоне — напоминал мне дядю Колю. Такой же чернявый, такой же статный, такой же сильный, такой же вспыльчивый. Правда, проявлений вспыльчивости дяди Коли сам я никогда не видел, но слышал о ней от его сына Сергея довольно-таки много. Не знаю, был ли дядя Коля чересчур строг к своему сыну или сын его вёл себя слишком буйно и распущенно, но Серёге доставалось постоянно. После школы Сергей попал в тюрьму. Мне ничего не известно о причинах этого дела, но думаю, что он хорошенько приложил руку к чьей-то челюсти. Он отличался вспыльчивостью и неумением контролировать свою силу. Помню, он однажды (задолго до тюрьмы) приехал к нам домой с молодой женой, и я увидел, что рука его перебинтована.

— Что стряслось, Серёга? — поинтересовался я у него, когда мой отец вышел из комнаты.

— В рожу одному идиоту сунул, — негромко пояснил он и тут же поспешил добавить: — Только ты своему отцу не говори, что я дрался, а то он моему обязательно расскажет…

Дядя Коля был тогда в Индии, далеко от сына. Но сын

смертельно боялся отца.

Когда Сергей попал в тюрьму, дядя Коля сказал угрюмо:

— Видишь, Андрюха, как этот стервец карьеру мне испортил. Думает только о себе, если вообще думает, подлец!

В интернате я был знаком с Ванькой, который когда-то занимался боксом и по этой причине тоже беспрестанно встревал в какие-то стычки. Почти сразу после школы он угодил за решётку. Был у нас и Гена, постоянно глотавший какие-то таблетки и всё время куда-то пропадавший из Приюта. Тогда в обиходе редко можно было услышать слово «наркоман», воспитатели говорили, что Гена просто выпивал. Но от него не пахло вином. Возможно, он тоже схлопотал срок.

В тот вечер, когда он впервые появился в Приюте, мы смотрели в нашем кинотеатре фильм «Сто дней после детства». Помню, как Гена сказал, что с Таней Друбич, исполнявшей главную роль в той картине, он учился в одной школе. Мы все позавидовали ему, ибо девочка из кинофильма, украшенная пышным цветочным венком, была удивительно хороша. Много лет позже я повстречал Таню Друбич на «Мосфильме», работая там ассистентом режиссёра, а также нашёл гипсовые колонны, появлявшиеся в том фильме и брошенные рассыпаться под дождём, как и прочий использованный реквизит. Но я не познакомился с Таней, даже не подошёл к ней, как не подошёл и к другим известным актёрам, с которыми сталкивался в коридорах киностудии. И Таня Друбич, и эти колонны, и валявшийся на «бетонке» (так называлась бетонированная площадка с останками всевозможной бутафории) яйцевидный космический корабль из фильма «Кин-дза-дза», и гигантский колокол из «Бориса Годунова» — всё это вдруг стало для меня частью обыкновенного и очень скучного мира, с которым мне ни здороваться, ни сближаться не хотелось. Это был просто мир работы, мир нудный, малопривлекательный. Это не был мир творчества, хотя всюду сновали режиссёры, операторы, артисты. Это не был мир моего творчества, а потому окружавшие меня люди и предметы не имели для меня никакой ценности.

Но я отвлёкся…

В Приюте встречалось много выразительных личностей, драчливых, несдержанных, буйных, нервных. Что могли такие дети принести своим родителям, кроме нервотрёпки? Я и сам не являл собой образец идеальности.

Приезжая в Дели, я часто ходил в книжные магазины и воровал там книги. Воровал не потому, что у меня не было денег на покупку книг. Дело в том, что я воровал книги определённого профиля. Я был захлёстнут в конце школы сексуальным

любопытством, и меня манили книги с эротической начинкой. Естественно, что о покупке тех книг с ведома родителей не могло быть речи, поэтому я крал их, быстренько прочитывал и выбрасывал, чтобы не держать дома. В те годы книжные магазины в Дели были чудесны: красочные альбомы по искусству, детективы, этнография, философия. Купить можно было всё. Но меня влекли вестерны и эротика, и я в первую очередь выискивал книжонки с дурманившими моё сознание обложками. Помню, попалась мне на глаза книга «Nudes That Never» о том, как двое влюблённых никак не могли заняться сексом, их всё время кто-то прерывал. До сих пор помню, как она была оформлена — голая девушка прикрывает причинное место соломенной шляпкой, украшенной красными цветочками. Мог ли я оставить ту книгу дома надолго? Нет! Я прочитал и выбросил её, как и другие книги эротичнского направления. Из англоязычной литературы на моей книжной полке задерживались только вестерны, не вызывавшие у моих родителей никаких вопросов.

Если бы меня схватили в магазине за руку, разразился бы страшный скандал. Думал ли я о последствиях? Не думал. Для меня не существовало будущего. Я жил сиюминутными порывами и желаниями.

Позже, учась в разведшколе, я вспоминал об этом воровстве с улыбкой. Будучи пацаном, я проявил себя мелким воришкой, но в КАИ меня подготавливали к тому, чтобы в дальнейшем совершать серьёзные кражи, с государственным размахом: похищать секретные материалы из правительственных сейфов, угонять самолёты, сманивать людей.

Но кража всегда остаётся кражей, кем бы она ни совершалась. Ведь по сути воровство государственных документов ничем не отличается от воровства книг из книжных магазинов или библиотек. Мы берём то, что не принадлежит нам по праву. И всё же разница существует. Каждое воровство окрашено в свой цвет. Работа разведчиков по добыванию информации окрашена в благородные тона по той единственной причине, что достают они сверхсекретные документы не для себя лично, а для своей страны. Впрочем, когда отчаявшийся безработный человек выходит ночью грабить кого-то, чтобы обеспечить свою семью хоть какими-то деньгами, он тоже совершает этот страшный поступок не ради себя, а ради своего потомства.

Что же способно оправдать такое преступление? И может ли преступление вообще быть оправдано, даже если оно совершается ради мира на нашей планете?

Продолжая разговор о детях, наносивших удары своим родителям, не могу не вспомнить Игоря Петрова.

Дело было так: Игорёк влюбился в Лену; его родители работали тогда в Хабаровске; родители, как это было принято в кругу чекистов и дипломатов, считали себя белой костью и относили людей иного круга к чужеродной среде, хотя сами зачастую не обладали ни достаточным благородством, ни широтой взглядов. Мои родители не были исключением и про каждую мою новую девушку твердили одно и то же:

— Кто у неё родители? Ты поразмысли хорошенько, какие у вас могут быть общие интересы? Как вы будете строить вашу семью? Вы с ней принадлежите к абсолютно разным мирам!

Можно подумать, что Юрвас принадлежал к потомственным дворянам и воспитывался лучшими гувернёрами Парижа, или что моя матушка вышла из княжеской фамилии и не общалась ни с кем, кроме придворных дам. Почему-то наши родители очень быстро стали считать себя «белой костью» и смотрели на людей «чужого» круга очень высокомерно…

История Игорька и Лены напоминала поэму о Ромео и Джульетте: молодым влюблённым не позволяли встречаться, и когда чаша их терпения переполнилась, Игорь решил сбежать со своей избранницей. Он улетел с Леной в Москву, ничего не сказав родителям.

Можно только догадываться о чувствах разведчика, работающего на границе с Японией, когда у него исчезает сын. Разведчик склонен за невинной, но неожиданной встречей давнего знакомого, с которым не виделся лет десять, видеть возможный хитроумный ход иностранных спецслужб. А тут пропажа сына!

Через несколько дней Игорёк всё-таки позвонил в Хабаровск и сказал, что у него всё в полном порядке и что он женится на Лене. Когда я увидел Юрия Николаевича, отца Игоря, я поразился его выдержке. Он улыбался, будто пару дней назад не сходил с ума от исчезновения сына. Юрий Николаевич был невысок, широколиц — ничего особенного. Он увидел в моих руках гитару и попросил меня сыграть ему что-нибудь. Затем он сказал:

— Я должен привести себя в порядок. Ты уж извини, я вздремну.

Он опустился в кресло, бросил руки на подлокотники, откинул голову на спинку кресла и уснул. Я помню его усталые руки, покрытые рыжими волосами, помню его покрытую складками шею — тело обыкновенного человека.

Он просидел минут пять-десять, вздрогнул и поднялся. Когда я спросил у Игоря, может ли человек так быстро привести себя в норму, Игорёк ответил:

— Отец умеет взять себя в руки, умеет восстановить силы за

минуту…

При этом он не вспомнил, что в этот раз его отец вынужден был взять себя в руки из-за него, из-за младшего сына.

Мы, дети, доставляли нашим родителям массу неприятностей. Если бы мы догадывались о качестве их работы, мы бы старались вести себя иначе. Но мы ни о чём не подозревали. Для нас наши мамы и папы были просто мамами и папами, а не специалистами по секретным операциям, вербовкам, закладкам тайников.

Когда моя учёба в девятом классе скатилась на катастрофически низкий уровень, из Дели стремглав прилетела моя мамаша. Я покинул интернат, навсегда расставшись с его вольготной жизнью, и был в мгновение ока запряжён в ненавистную мне упряжку школьного образования. Никогда воз знаний не казался мне столь тяжёлым, почти неподъёмным. Мне пришлось зубрить наизусть фразу за фразой, параграф за параграфом, страницу за страницей, чтобы в конце концов не только сбросить все задолженности, но и превратиться из двоечника в твёрдого хорошиста. Мне не разрешалось гулять с друзьями и слушать музыку. Каждый день после окончания занятий я обходил учителей и выстреливал в них вдолбленными в мою голову уроками. Затем я ехал прямо домой и снова садился за учебники.

Признаюсь, что без церберовского отношения ко мне матери я бы не выплыл из болота моих двоек и троек. А если бы я не выплыл, то я никогда не поступил бы ни в один институт. Мать сумела-таки вернуть меня на дорогу, от которой однажды отвратила меня своими истериками. Это не значит, что я полюбил учёбу. Нет, учебный процесс сделался для меня почти ненавистным с раннего детства. Но я осознал, что через это надо пройти, чтобы в дальнейшем кое-что получилось. Возможно, самым весомым аргументом во всей этой истории был вопрос, который мне задала мать, буравя меня холодной сталью своего взгляда:

— Ты намерен учиться или хочешь отправиться в армию? Если ты полный дурак, то отправляйся бегать по окопам! Хочешь быть дураком — будь им!

Юрвас выразился по этому поводу деликатнее:

— Зачем тебе терять два года попусту? Отвыкнешь сидеть за учебниками, а после армии придётся снова приучать себя к этому. В институт всё равно надо поступать, ты уж поверь мне, школьных знаний не хватит ни на что. Но если же ты хочешь в армию, тогда ничего не поделаешь...

В армию я не хотел. Я был сыт по горло начальной военной

подготовкой в школе. Я ненавидел и презирал нашего щуплого военрука, с упоением заставлявшего нас маршировать на заднем дворе школы. Помню, как однажды он устроил нам военные учения на пустыре и заставил всех ползти на брюхе через мусорные кучи. Когда я дополз до россыпей битых бутылок, я поднялся и хотел просто перешагнуть их, но военрук велел снова лечь и ползти. В результате я в нескольких местах разрезал ногу кусками стекла.

Мысль о том, что в армии таких военруков будет значительно больше, быстро охладила меня.

Что касается учёбы в институте, то про это можно написать отдельную книгу, но сейчас я не буду касаться МГИМО.

***

Я уже был женат и работал в Министерстве внешней торговли, когда узнал, что Юрвас заболел. Он находился в Женеве.

Поначалу я стал замечать какие-то странности в отцовских письмах. Где-то слова были написаны неправильно, где-то падежи употреблялись не те. Я относил всё это на счёт нехватки времени — ну, торопится человек, вот и ляпает ошибку за ошибкой. Но однажды отец сообщил, что с ним что-то не так. Что именно, он не указал. Написал только: «Со мной что-то странное происходит».

Как-то раз я набрал номер их телефона и вдруг вместо нормальной речи Юрваса услышал нечленораздельные фразы. Это было похоже на белиберду, которую несёт клоун, стремясь развеселить зрителей. Но Юрвас не был клоуном, и я не понял ровным счётом из его слов. Это были хорошо проговоренные фразы, но лишённые смысла. Слова в них были насованы абы как.

Ещё через пару дней Юрваса положили в больницу в Женеве, а затем отправили в Москву. Уже на носилках. Уже в бессознательном состоянии.

И тут диагноз — опухоль.

После первой операции Юрвас быстро пришёл в норму, стал смеяться, разговаривать, шуметь. Он очень хотел вернуться в Женеву и продолжить работу и поэтому всё время давил на врачей, чтобы ему написали нужную справку. Но спешил только он. Врачи не торопились.

Однажды мы, возвращаясь из гаража, попали с ним под дождь. Вода хлынула с неба внезапно, будто кто-то наверху

открыл шлюзы и решил затопить Чертаново. Юрвас сбросил башмаки и остановился, наслаждаясь тяжёлыми каплями. Лужи вокруг нас пузырились.

— Как чудесно, Андрюха! — сказал отец. — Как давно я не стоял вот так под дождём!

И мне было радостно, что я мог находиться возле него. Я не догадывался, что его выздоровление было временным. Опухоль была неизлечимой. Я даже подумать не смел о том, что вскоре Юрваса не станет, мысли такой не допускал.

Через месяц наступило ухудшение. Вторая операция оказалась неудачной, и Юрвас остался прикован к постели. Он худел день ото дня. Теперь не было сомнений в том, что о выздоровлении речи не было.

Как-то раз он попросил меня о чём-то глазами, промычал что-то. я не понял и стал выспрашивать, чего он хотел. Одно спросил, другое, уточнил... Он показывал глазами на соседнюю комнату. Я взял его на руки и без труда — он был лёгок, как пушинка — перенёс его в другую комнату. Он указал глазами на шкаф. Я положил Юрваса на диван и открыл шкаф. Показывая ему то одну вещь, то другую, я в конце концов нашёл красивую коробку с глиняной бутылкой виски.

— Ты хочешь выпить?

Он отрицательно покачал головой.

— Ты хочешь, чтобы мы выпили это?

Он кивнул. Я не осмелился сказать «выпили на твоих поминках», но я понял, что именно это Юрвас имел в виду.

Вскоре его забрали в госпиталь, где он скончался 24 декабря, не приходя в сознание.

Вспоминая дни его мучительной болезни, я не могу не упомянуть мою мать, ибо она была неотъемлемой частью тех удручающих дней. Она не отходила от прикованного к постели Юрваса ни на минуту. Её преданность достойна того, чтобы её воспели в стихах. Она была рядом с мужем на протяжение всех тех мрачных месяцев, поила его с ложечки, протирала его, пыталась угадывать его слова, разговаривая с ним. Лучшей сиделки Юрвасу не найти было ни за какие деньги. Таково было поведение женщины, которая в течение долгих лет не умела найти с мужем общий язык! Этот общий язык — язык любви — обнаружился в последние месяцы его жизни! Откуда взялась в моей матери эта верность, о которой я и не подозревал раньше? Или это что-то иное, чему я не знаю имени? Загадка изнурительной семейной жизни...

Примерно через год после смерти отца я нашёл, перелистывая одну из его телефонных книжек, страницу, где

было написано: «Нина, Андрюша, Юля, прощайте…»

Эти слова он успел написать до второй операции, после которой стал неподвижен. Значит, он понимал, что болезнь не отстанет и что жить ему оставалось недолго. Эти слова поразили меня в самое сердце. Они прозвучали словно из потустороннего мира. Возможно, они произвели на меня даже более сильное впечатление, чем сама смерть отца.

Наступила тяжёлая полоса мрачнейшего настроения.

***

— Готов ли ты делать из людей предателей? Ведь наша работа направлена фактически на то, чтобы сделать из обычного человека изменника своей родины. Мы покупаем этих людей или убеждаем их работать на нас. В любом случае, это предательство. По крайней мере, граждане любой страны называются предателями и преследуются законом, если сотрудничают с иностранной разведкой...

Эти слова я услышал от Шебаршина. Он уже был руководителем внешней разведки.

После смерти отца я не знал, куда себя деть. Я был потерян. Оказалось, что мой отец, с которым я виделся очень редко, был мне необходим. Он был воплощением силы и твёрдости, он был стеной, ограждавшей меня от многих трудностей. Он не успел стать мне другом, но успел сделаться чем-то гораздо более существенным, важным, фундаментальным. И вот эта фундаментальность исчезла в одночасье, ушла из-под ног, оставив меня висеть в невесомости.

Впервые я ощутил всю бессмысленность человеческого существования. Близкие люди, любимое дело — со всем этим рано или поздно придётся расстаться, всему настанет конец. Я не мог понять: зачем тогда это всё нужно, зачем надо стремиться к благосостоянию и душевному покою. Куда ни глянь, всё заранее обречено на гибель, на всём лежит печать смерти.

От Бога я был слишком далеко в те времена, чтобы принять мир таким, каков он есть. Мне казалось, что жизнь меня нагло обманула.

Мне требовались срочные перемены. И они пришли.

После долгих проверок, освидетельствований и собеседований я был зачислен в КГБ и направлен на учёбу. Попав в КАИ (Краснознамённый институт имени Андропова), я соприкоснулся с людьми, некоторые из которых уже по пять-

шесть лет работали в органах госбезопасности, но не в разведке.

Когда нас отправили в Тулу, где располагался десантный учебный центр, многие из курсантов почувствовали себя не в своей тарелке, так как мы вынуждены были ходить все под лейтенантскими погонами, в то время как некоторые из нас дослужились уже до майора. Знаю, что один из моих сокурсников неоднократно ходил в Турцию и приносил на своих плечах оттуда пленных; он покорно слушал приказы руководившего нами капитана (часть выработанной привычки — не проявлять своих эмоций), но во время перекуров он иногда цедил сквозь зубы:

— Не понимаю, что я тут делаю. Заставляют нас заниматься полной чепухой…

Приставленный к нам капитан (из десантников) сказал нам однажды во время парашютной подготовки:

— Мне велели не спрашивать вас, кто вы, откуда вы. Понимаю, что вы здесь не просто так. Но мне не разрешили расспрашивать никого из вас. Я ничего не знаю о вас, хотя командир должен знать своих подчинённых. Но это не моё дело. Я лишь должен научить вас тому, что умею делать сам… Я служил в Афганистане, был ранен неоднократно, поэтому я не хочу, чтобы вы испытали то, что испытал я... Я видел, что некоторые из вас хорошо владеют оружием, стало быть, прошли военную подготовку. Но всё же прислушайтесь к моим советам…

Во время очередных ночных учений я умудрился сломать руку. Произошло это как-то до смешного нелепо, без серьёзных на то причин. Мы забрались в овражек, из которого не сразу нашли выход наверх, и я просто поскользнулся, перешагивая через узенький ручеёк. Оступился и упал на правую руку. Если бы я, поднимаясь, опёрся на левую руку, то я даже не сразу заметил бы, что повредил правую (настолько я был разгорячён долгим переходом). Но я подставил под себя правую руку, и она безвольно ушла куда-то вбок, отказываясь повиноваться. Кто-то помог мне подняться, выдернув меня за воротник из лужи. Через час мы попали под обстрел и вынуждены были спешно отступить. Вот тут, когда пришлось быстро бежать, я почувствовал, что со мной что-то неладно, что я слишком уж устал. Рука сильно ныла, шевелить ею не получалось, и я заткнул её за лямку рюкзака. Капитан, когда ему сказали, что я повредил руку, подозвал меня к себе и опытным глазам сразу оценил перелом. Рука распухла вдвое, на запястье вылезла каким-то пузырём и посинела.

— Пошевелите пальцами. Так, понятно… Всё, для вас война закончена, — сказал мне капитан и послал меня с одним из опытных ребят к пункту, где должны были находиться наблюдатели.

До тульского медсанбата мы долго тряслись на забрызганном грязью автомобиле, который дребезжал всеми своими составными частями. Наконец добрались до места. Сделали рентген. Огласили результат — перелом лучевой кости. Налепили гипс.

А на следующий день нам объявили, что нас возвращают в Москву! Какая радость и какая досада одновременно! Военные игрища завершились успешно, но без меня. «Для вас война закончилась». В случае настоящих боевой операции никто не снял бы меня вот так запросто с задания и не отправил бы в укромный уголок.

Лестно одно: ребята, увидев на мне гипс, выразили уважение моему поведению ночью. Должно быть, все они решили поначалу, что у меня лишь вывих или сильный ушиб; вероятно, обычно при переломах пострадавшие часто показывают меньше выдержки. Впрочем, в те годы я был гораздо терпеливее, выносливее, чем сейчас.

Когда же я увольнялся, в отделе кадров мне как бы невзначай напомнили о том, что я был единственный из всех, кто сломал руку на учениях.

— И что? — не понял я.

— Ничего. Просто это весьма странно. Один из всех…

Причин для моего увольнения было предостаточно. Во-первых, я не желал тратить на учёбу целых три года. Я боялся учёбы, боялся экзаменов. За годы учёбы в школе и в МГИМО у меня выработался стойкий отрицательный рефлекс ко всему, что было связано с процессом обучения. Думаю, что немаловажную роль в этом сыграла моя истеричная матушка, отчитывавшая меня за всякую неудачу. Возможно, это подорвало мою веру в собственные силы. Я не умел выступать на семинарах и на экзаменах превращался в тупицу, ибо я не любил говорить о том, что меня не интересовало, а подавляющее число предметов в институте было мне попросту безразлично. Другие умели просто пересказывать заученные параграфы, а я — нет. Не видел в этом смысла. Потому и учился неважно и постоянно чувствовал унижение, когда приходилось выслушивать бичующие слова преподавателя перед лицом всей группы… И вот снова пришла учёба. Теперь уже в КАИ. Я с удовольствием просиживал в библиотеке, читал секретные материалы, занимался греческим языком, фотоделом и прочими специальными дисциплинами. Но когда дело доходило до семинара, меня охватывала паника.

Второй причиной была партия. Я не собирался вступать в партию, но сотрудник советской разведки обязан был быть членом КПСС. О членстве в партии я не помышлял, когда закончил МГИМО и попал в «Медэкспорт». Я просто работал —

честно, дисциплинированно, результативно. Мне не нужна была партия. Сказать об этом вслух в те годы было чуть ли не преступлением. А к истории КПСС и к политэкономии, считавшимися первоосновными в любом политическом ВУЗе, у меня была стойкая нелюбовь. Нет предметов более далёких от меня, чем эти два. Но и об этом нельзя было ни сказать, ни написать.

В рапорте об увольнении я написал, что учёба у меня идёт плохо, а я считаю невозможным для себя вводить в заблуждение руководство, поэтому прошу отчислить меня из КАИ. Руководитель нашей учебной группы отнёсся ко мне с пониманием.

— Я знаю, почему вы пошли к нам, — сказал он, вызвав меня в свой кабинет. — Вы, как я полагаю, очень любили и очень уважали вашего отца. Должно быть, вами двигало желание продолжить его дело. Это похвально, но не в разведке. Всё-таки здесь другой принцип. Одного внутреннего стремления мало. Но я считаю, что вы поступаете сейчас честно, честно перед нами и честно перед собой…

Он говорил долго, и я не услышал ничего обидного от него в мой адрес, хотя готов был к словам очень жёстким. Мне пришлось столкнуться с некоторыми офицерами из числа преподавателей, которые вели себя как солдафоны, а не тонкие сотрудники разведки. Помню, как в Туле один подполковник по прозвищу Сомоса, пристал ко мне, крайне недовольный моими бакенбардами.

— Завтра к утренней поверке укоротите их на сантиметр.

Я был возмущён, но подчинился. Однако на следующий день Сомоса потребовал сбрить их ещё на сантиметр, хотя дальше укорачивать было некуда. Чем ему не угодили мои бакенбарды? Чем ему не угодила моя физиономия? Я допускаю, что такого рода поведение было намеренным. Это могла быть система мелких унижений, через которую мы, курсанты, обязаны были пройти, приучившись ни на что не обращать внимания. Это лишь моё предположение, но оно вполне оправдано. Ведь нас заставляли проходить через всевозможные тесты, поначалу это случалось чуть ли не каждые два дня, а после этого нас вызывали на личную беседу и произносили что-нибудь такое: «Ну что же вы так плохо? Как вы сами можете объяснить это?». И ни слова о том, что именно плохо и что именно надо объяснить. Просто укоризненный взгляд, сурово сжатые губы, недовольное выражение лица. Это был психологический обстрел. Будь я не двадцатипятилетним парнем, а чуть взрослее, я бы прошёл через эту шелуху без труда. Но меня переполняли амбиции, гордыня,

нетерпимость ко многим вещам. Эмоции захлёстывали меня. Впрочем, будь я взрослее, я бы никогда не пошёл в эту Систему. Я — одиночка.

***

«В нормальное мирное время выживает бюрократ. Нельзя позволить себе быть выдающимся. Герои нужны только во время войн и революций. В другое время они должны “перевоспитаться” или погибнуть».

«Я не верю, что кого-то можно перевоспитать. Тем более не верю в перевоспитание других. Нужно оставаться самим собой, верить только в себя, следовать выбранной идее, даже если другие считают тебя безумцем».

Мог ли мой отец позволить себе оставаться самим собой? Думаю, что не мог, как не могли и другие разведчики. Разведчик всегда носит на себе маску.

«Я люблю освещённое солнцем море, лес, голубое небо, поля, необозримые просторы, серебрящиеся в лучах солнца ручьи, луну весной в разрывах облаков, солнечное утро. Значит, я люблю солнце. Но не люблю закат. А больше всего я люблю Андрея. Это моё солнышко».

Хорошо, что после отца остался дневник. Жаль, что в нём слишком мало записей. Жаль, что любовь, о которой там написано и которую Юрвасу пытался всячески проявить, я не сумел по-настоящему увидеть и прочувствовать. Жаль, что я не смог ответить на неё должным образом. В детстве ко многому бываешь слеп и глух. Теперь же мне остаётся только перечитывать эту фразу, притаившуюся среди прочих чернильных строчек в его записной книге. Этих строчек было не много, книга осталась почти пустой. Почему? Вероятно, Юрвас не успевал заниматься дневником, как не успевал заниматься мной. Случайные беседы — это так мало! И потому я задаюсь вопросом: должен ли разведчик иметь семью? Если должен, то я не понимаю причины. У него нет на это времени. Он не успевает радоваться своей семье, не успевает делить с семьёй маленькие житейские радости. А ведь это так важно — делить с кем-то радость.

Вспомнился мне один случай. Юрвас доложен был прилететь из Женевы в Москву по какому-то делу в Центр. Приехав в Шереметьево, мы (я был с его коллегами) узнали, что самолёт задерживается. На час, на два, на много… Чекисты прозвонились на работу и по своим каналам узнали, что в швейцарском

аэропорту объявили, что в том самолёте, на котором предстояло лететь моему отцу, было обнаружено взрывное устройство. Или не обнаружено, но кто-то предупредил, что оно якобы где-то там заложено быть. Отвратительное слово «якобы»… Мы ждали. Все ждали. Ничего не нашли. Самолёт в конце концов поднялся в воздух. Все опять ждали. В тот раз всё обошлось благополучно. Но ожидание было томительным. Бомба не переставала тикать у меня в голове всю ночь.

Тревога и ожидание, которым чекисты подвергают своих близких, ужасны. Всякий раз отправляясь на задание, они обрекают жену и детей на это жуткое ожидание, ибо за рубежом практически каждый выезд разведчика в город связан со служебным заданием. Я думаю, что никто из людей не вправе терзать свою семью таким образом. Если ты выбрал путь воина, то ты должен быть одинок, видимый это фронт или невидимый.

Однажды мать, вспоминая жизнь в Женеве, сказала:

— Это был настоящий кошмар! Юра постоянно приносил в дом какие-то секретные документы. Я вздрагивала от каждого шороха за дверью: не полиция ли к нам, не схватят ли нас с этими бумагами на лестнице или в лифте? Ужас! А когда Юра уезжал, никогда нельзя было с уверенность сказать, что он вернётся домой живой и невредимый, хоть и с дипломатическим паспортом в кармане. Там ведь всё могло случиться…

Сотрудники спецслужб — люди особые. К ним можно относиться лишь как к сотрудникам спецслужб. Они не знают, что такое откровенность, искренние чувства. Когда они смеются, они всегда прислушиваются к смеху других, они не позволяют себе целиком отдаться своим чувствам. Они приучают себя не терзаться муками совести, не чувствовать чужую боль… вообще ничего не чувствовать. Они приспособлены к тому, чтобы мыслить и анализировать, будучи всегда готовыми к любому подвоху. В них нет доверия ни к кому, зато они всегда готовы подцепить вас на крючок и превратить в своего агента. И в этом нет ничего личного. Такова суть их работы.

Я говорю об этом потому, что уже через год после смерти Юрваса, никто из его сослуживцев не звонил нам, не спрашивал даже из формальной любезности, нужна ли какая-нибудь помощь. Моя мать осталась без пенсии, но никого не интересовало, как складывалась её жизнь...

Жаль, что человек, посвятивший себя работе в секретной службе, остаётся невидим для окружающего мира. Лишь крохотная часть его открыта постороннему взору, как вершина айсберга, основная же масса скрывается глубоко в толще воды. Что мы знаем о разведчиках? Что мы знаем о них как о людях?

Впрочем, что мы вообще знаем о людях? Что мы знаем о самих себе?

Апрель — август 2001
Октябрь 2004